

1

РАЗВИТИЕ ЭГО И ИСТОРИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ*

КЛИНИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

Люди, принадлежащие к одному этническому ареалу, одной исторической эпохе и экономической сфере, ведомы общими образами добра и зла. В своем бесконечном разнообразии эти образы отражают скрытую от глаз сущность исторических изменений; однако в форме современных им социальных моделей и убедительных прототипов эти образы приобретают решающую конкретность в развитии эго каждого индивидуума. В психоанализе психология эго не получила достаточной теоретической определенности. С другой стороны, историки продолжают игнорировать те простые факты, что все индивидуумы рождены матерями; что каждый из нас когда-то был ребенком; что все люди и народы вышли из своих детских; что путь развития индивидуума в обществе — это путь от колыбели к родительству.

Лишь объединившись, психоанализ с социальной наукой способны последовательно соотнести стадии жизненного цикла с историей общества. Этим вопросам посвящен настоящий сборник клинических записок, в котором представлены проблемы, примеры и теоретические соображения относительно того, в какой связи находится эго ребенка с современными ему историческими моделями.

* Оригинальная версия данной работы впервые опубликована в журнале *The Psychoanalytic Study of the Child*, 2:359–396, 1946.

Групповая идентичность и эго-идентичность

1

Оригинальные формулировки Фрейда, относящиеся к эго и его взаимоотношениям с обществом, лежали в русле общей линии его аналитической аргументации и социологических представлений эпохи. Тот факт, что Фрейд в своих первых работах по групповой психологии цитирует постреволюционного социолога Лебона, наложил свой отпечаток на последующие изыскания в области психоанализа толпы. Фрейд признавал, что «массы» Лебона являются обществом низкоинтеллектуальных и отказавшихся от собственной воли людей, наслаждающихся анархией в наступивший промежуток между двумя историческими эпохами и ведомых лидером как в своих наилучших, так и наихудших проявлениях. Такие массы существуют; определение не потеряло своей силы. Однако между данными социологическими наблюдениями и материалом, полученным при помощи психоаналитического метода, существует некий разрыв, а именно индивидуальная история, реконструируемая по эпизодам переноса и контрпереноса в ситуации наедине с терапевтом. Данный методологический разрыв привел в психоанализе к искусственному разделению объектов на «индивидуума-внутри-семьи» (или в окружении его семейных моделей, проецируемых на «внешний мир») и «индивидуума-в-массе», погруженного в не имеющую четких границ толпу¹. Таким образом, к феномену и концепции социальной организации и ее влиянию на индивидуальное эго долгое время снисходительно относились как к неким «социальным факторам». В целом концепция эго была первоначально очерчена рамками уже существовавших и хорошо известных определений своих противоположностей — биологической идентичности и социологической «массы»: само же эго как индивидуальный центр организованного опыта и целеполагания оказывалось между молотом анархии примитивных инстинктов и наковальной беззакония коллективного духа. Можно сказать,

что на место моральных координат бюргера, обозначенных Кантом как «звезды над головой» и «нравственный закон внутри», ранний Фрейд ставил внутреннюю идентичность и окружающую толпу, между которыми помещал объятые страхом эго.

Для описания морали отдельного индивидуума Фрейд ввел понятие идеального эго, или супер-эго. Сначала упор делался на чужеродном воздействии на индивидуальное эго. Супер-эго, как подчеркивал Фрейд, есть интернализация всех ограничений, которым эго должно подчиняться. Эти ограничения навязываются ребенку («*von aussen aufgenötigt*») родителями с их критическим влиянием, а позже — профессиональными наставниками и теми, кого ранний Фрейд определял как «разнородную толпу приятелей» («*die unbestimmte Menge der Genossen*»), создающих «среду» и «общественное мнение» (Freud, 1914).

Столь мощное неодобрение извне заставляет ребенка выйти из своего первоначального состояния наивной любви к самому себе. Он ищет модели, на которые мог бы равняться, и пытается быть счастливым, подражая им. Если ему это удастся, он достигает *самоуважения*, не слишком убедительного факсимиле своего оригинального нарциссизма и ощущения всемогущества.

Эти ранние концептуальные модели не прекращали определять направления позднейших дискуссий и практические цели клинического психоанализа². Фокус психоаналитических исследований, однако, сдвинулся в сторону разнообразных генетических проблем. От изучения того, как эго растворяется в аморфном множестве или в лидере-толпе, мы совершаем поворот к проблеме возникновения инфантильного эго в организованной социальной жизни. Вместо того чтобы делать акцент на отрицании ребенка в социальной организации, мы хотим прояснить, что же социальная организация дает ему изначально, что из этих даров поддерживает его на плаву и, подстраиваясь под его специфические потребности, заставляет его вести тот или иной образ жизни. Вместо того чтобы принять эдипову трицу как неразложимую схему иррационального поведения человека, мы стремимся к кон-

кретизации и исследуем, каким образом социальная организация кодeterminирует структуру семьи; поскольку, как писал Фрейд уже ближе к концу своей жизни, «то, что действует [в супер-эго], это не только личные качества этих родителей, но и все то, что произвело определяющее влияние на них самих, а также вкусы и стандарты их социального класса и наклонности и традиции их расы» (1938, pp. 122–123).

2

Фрейд показал, что сексуальность возникает в самый момент рождения; он также дал нам инструменты для демонстрации того факта, что социальная жизнь начинается с началом жизни всякого индивида.

Некоторые из нас применяли эти инструменты в изучении так называемых примитивных обществ, где ребенок интегрирован в четко определяемую экономическую систему и небольшой и статичный набор социальных прототипов³. Обучение ребенка в таких группах, заключаем мы, есть метод, которым базовые способы организации коллективного опыта (его коллективная идентичность, как мы это назвали) передаются малышу в виде раннего физического опыта, а затем, через этот опыт, формируют основы его эго.

Позвольте мне вначале проиллюстрировать концепцию коллективной идентичности небольшой отсылкой к антропологическим изысканиям, произведенным некоторое время назад Микилом Скаддером (Mekeel H. Scudder) и мною. Мы описывали, как на одном из этапов переобучения американского индейца сиу его историческая идентичность охотника на бизонов — уже не существующих — столкнулась с профессиональной и классовой идентичностью американского государственного служащего, который был его наставником и учителем. Мы указали на то, что идентичность этих двух групп определяется в том числе экстремальными различиями в географических и исторических представлениях

(коллективное эго — пространство — время) и радикальными различиями в экономических целях и средствах их достижения (коллективный жизненный план).

Для сохранившейся идентичности индейцев сиу доисторическое прошлое является полноценной психологической реальностью. Покоренное племя вело себя так, будто их жизненный план заключался в пассивном сопротивлении настоящему, в которое невозможно интегрировать остатки идентичности экономического прошлого, и в мечтах о возрождении, в котором будущее вернуло бы их в прошлое, время бы вновь стало неисторическим, пространство — неограниченным, деятельность — безгранично центробежной, а стада бизонов — необозримыми. Государственные же учителя, напротив, предлагали им жизненный план с центростремительными, локализованными целями: дом, хозяйство, очаг, счет в банке — все то, что имеет смысл в том жизненном плане, где прошлое уже свершилось, и в котором свершения настоящего будут принесены в жертву еще более высокому стандарту жизни будущего (которое бесконечно отодвигается). И дорога к этому будущему — не внешнее возрождение, но внутреннее преобразование.

Очевидно, что любой эпизод в опыте, приобретенном членом каждой из этих групп, разделяемый или отвергаемый, необходимо толковать соответственно его месту в системе координат двух этих взаимопроникающих жизненных планов.

У примитивных племен источники и средства производства связаны между собой напрямую. Их инструменты — это продолжение их тел. Дети в таких коллективах участвуют в технических и магических действиях; для них тело и окружающая среда, детство и культура могут быть полны опасностей, но все вместе составляют единый мир. Набор их социальных прототипов невелик и статичен. В нашем же мире машины уже давно не являются продолжением человеческого тела, напротив, целые человеческие организации обречены служить продолжением машинного производства; магия выполняет лишь посреднические функции; детство превратилось в отдельный сегмент жизни со своим собственным фольклором.

Экспансия цивилизации, вкупе с ее стратификацией и специализацией, вынуждает детей строить свои эго-модели на основе подвижных, разрозненных и антагонистичных прототипов.

3

Взрослея, ребенок должен развить в себе живое ощущение реальности, получая подтверждение того, что его индивидуальный путь в получении опыта (его эго-синтез) является успешным вариантом коллективной идентичности и соответствует ее пространственно-временному и жизненному плану.

Едва научившись ходить, ребенок не только стремится повторять и совершенствовать акт хождения, движимый либидозным удовольствием в смысле локомоторного эротизма Фрейда или же потребностью овладения в соответствии с принципом успешно выполненного действия Айвза Хендрика; но он также получает ощущение своего статуса и новой ценности «себя, умеющего ходить», какую бы коннотацию это событие не имело в системе координат жизненного плана его культуры: «того, кто будет далеко ходить», «того, с кем будет все хорошо» или «того, кто далеко пойдет». Быть «тем, кто умеет ходить» становится одним из многих шагов на пути развития ребенка, которое, через совпадение физического овладения и культурных смыслов, функционального удовольствия и социального признания, приведет к более реалистичной самооценке. Без сомнения, будучи лишь нарциссическим утверждением младенческого всемогущества (которое можно заполучить гораздо меньшей ценой), это ощущение собственной ценности вырастает в убеждение, что собственное «я» делает эффективные шаги в сторону конкретного коллективного будущего и постепенно превращается в определенное эго в рамках социальной реальности. Это ощущение я назову *эго-идентичностью*. Я бы определил этот термин как субъективный опыт и как динамический факт, как коллективный психологический феномен — и в совокупности как объект клинического изучения.

Осознаваемое ощущение обладания *личной идентичностью* основывается на двух одновременных наблюдениях: непосредственном восприятии собственной личности и ее непрерывности во времени; и одновременно восприятии того факта, что другие распознают самость и непрерывность этой личности. То, что я предлагаю называть эго-идентичностью, относится не к одному лишь факту существования, что входит в понятие личной идентичности; это качество эго данного существования.

В таком случае эго-идентичность в своем субъективном аспекте есть признание того, что методы синтеза эго являются проявлением собственной самости и непрерывности и что эти методы эффективны для защиты собственной самости и непрерывности в глазах других людей.

4

Несмотря на всю неопределимую важность приложения Фрейдом современных ему концепций физической энергии к области психологии, его теория о том, что энергия инстинктов передается, вытесняется, трансформируется аналогично тому, как это объясняет закон сохранения энергии в физике, не может больше нас удовлетворить и объяснить данные, ныне полученные в наблюдениях.

Существующий разрыв позволяет закрыть именно концепция эго. Мы должны найти причинную зависимость социальных образов и организмических сил — и не только в том смысле, что образы и силы здесь, как говорится, «взаимосвязаны». Более того, взаимное дополнение этоса и эго, коллективной идентичности и эго-идентичности предлагает намного больший потенциал как для синтеза эго, так и для социальной организации.

Когда индеец сиу, пребывая на вершине своего религиозного опыта, вбивает в собственную грудную клетку клинышки, привязывает их к веревке и танцует (в неопределимом трансе) до тех пор, пока веревка не затягивается и клинышки не начинают разрывать его

плоть, так что кровь стекает ручьями по его телу, мы видим смысл в его экстремальном поведении: он обращает против себя некие изначально спровоцированные, а затем энергетически фрустрированные детские импульсы, «фиксация» на которых, как мы обнаружили, имеет решающее значение в коллективной идентичности сиу и индивидуальном развитии этого человека⁴. В данном ритуале «ид» и супер-эго явно противопоставлены друг другу, так же как в бесплодных ритуалах наших страдающих неврозами пациентов. Примерно то же значение имеют действия мужчин племени юрок, которые после близости с женщиной направляются в парную, где пребывают, пока не покроются потом и не смогут протиснуться через овальное отверстие в стене прямо в холодную речную воду; после чего они считают себя очистившимися и обладающими достаточной силой для ловли священного лосося. Очевидно, что данный ритуал — искупление, призванное восстановить самооценку и внутреннее ощущение безопасности. У тех же индейцев ежегодная оргия, устраиваемая после того, как коллективными усилиями река перегораживается дамбой, что позволяет наловить много лосося на зиму, очевидно, дает им разрядку, освобождая от перенапряжения и сводя на нет предшествующие искупительные жертвы. Но если мы попытаемся найти равновесие между этими известными нам экстремальными точками, если мы спросим себя, что же характеризует индейца, который не делает ничего из вышеописанного, а лишь предстает перед нами как тихий представитель этого племени, включенный в ежедневную рутину годового цикла работ, мы не найдем подходящей точки отсчета для описания. Для этого нужны малые признаки того, что человек где-то и когда-то, в минуты эмоциональных и мыслительных изменений, переживает вечный конфликт, проявляющийся в перемене настроения от депрессивно-неопределенно-тревожного через состояние, которое Фрейд называл «промежуточной стадией», затем по нарастающей к ощущению благополучия — и обратно («*von einer übermässigen Gedrücktheit durch einen gewissen Mittelzustand zu einem erhöhten Wohlbefinden*»). Однако является ли эта промежуточная стадия динамически ничтожной настолько, что определить ее можно, лишь указав на то, чем она не является; заявив, что ни маниакальная, ни

депрессивная тенденция в тот или иной момент не наблюдается явно, что на поле боя эго происходит минутное затишье, что супер-эго временно покинуло поле боя и что в подсознании произошло перемирие?

Необходимость определить стадию сравнительного равновесия между различными «состояниями души» стала особенно актуальной для вынесения моральной оценки действий во время войны. У меня была возможность наблюдать поведение людей в относительно экстремальных условиях, а именно во время пребывания на подводной лодке (Erikson, 1940b). Здесь суровому испытанию подвергается эмоциональная пластичность и социальная гибкость людей. Ожидания героического свойства и фаллическо-локомоторные фантазии, с которыми вступает на корабль юный доброволец, в целом не могут быть выявлены в его ежедневной жизни на борту, в рутинных занятиях, в ограниченном пространстве, а также в той роли слепоглухонемого исполнителя, которая от него требуется. Чрезвычайная взаимозависимость членов экипажа и взаимная ответственность за жизнь и комфорт в исключительно тяжелых и длительных по времени условиях скоро вытесняет первоначальные мечты. Экипаж и капитан представляют собой некий симбиоз, управляемый не только формальными правилами. С удивительным тактом и мудростью создаются негласные договоренности, благодаря которым капитан становится нервной системой, мозгом и совестью всего этого подводного организма, воплощающего в себе одновременно идеально отлаженный процесс и проявление человечности, и благодаря которым члены экипажа мобилизуют свои внутренние компенсаторные механизмы (например, в коллективном использовании щедро предоставленной пищи), что позволяет экипажу выдерживать монотонность службы и при этом быть готовым к мгновенному действию. Такие автоматические взаимные адаптации к экстремальным условиям имеют «аналитический смысл» прежде всего там, где якобы прослеживается кажущийся регресс к состоянию первобытной орды, словесной летаргии. Однако если мы спросим, почему мужчины выбирают такой образ жизни, почему не отказываются от нее, несмотря на невероятное однообразие

и подчас ужасающую опасность, и, кроме всего прочего, почему при этом они пребывают в здравии и отличном расположении духа, мы не сможем дать удовлетворительный ответ. В психиатрических дискуссиях довольно часто предполагается — на основании проводимых аналогий, — что такие организмы, экипажи, профессиональные коллективы являются регрессивными и мотивированы латентной гомосексуальностью или психопатическими тенденциями.

Однако то, что объединяет подводника, индейца, ребенка со всеми людьми, которые чувствуют себя единым целым с тем, что они делают, когда и где они это делают, сродни тому самому «промежуточному состоянию», которое мы хотели бы сохранить в своих детях по мере их взросления; мы желаем, чтобы наши пациенты приобрели это состояние, восстановив «синтетическую функцию эго» (Nunberg, 1931). Мы знаем, что, когда это произойдет, игра станет свободнее, здоровье — блестящим, секс — более взрослым, работа — более осмысленной. Применив психоаналитические концепции к решению проблем коллективного, мы ощущаем, что более ясное понимание взаимного дополнения эго-синтеза и социальной организации может помочь нам терапевтически оценить психологический средний диапазон, расширение и культивирование которого на все более высоких уровнях человеческой организации является целью всех терапевтических усилий, как социальных, так и индивидуальных.

Патология эго и исторические изменения

1

Для идентификации себя самого ребенок имеет достаточное количество возможностей, в большей или меньшей степени экспериментальных, с участием реальных или вымышленных людей того или другого пола, с привычками, чертами характера, занятиями,

идеями. К радикальному выбору между ними ребенка принуждают определенные кризисные моменты. Однако историческая эпоха, в которой он родился и живет, предлагает ему лишь ограниченное количество социально значимых моделей для работоспособных комбинаций фрагментов идентичности. Их польза и применимость зависит от того, насколько они одновременно отвечают потребностям организма на определенной стадии зрелости и модели синтеза, свойственной данному эго.

Вызывающая тревогу интенсивность многих детских симптомов отражает необходимость защиты созревающей эго-идентичности, которая ребенку обещает интегрировать быстрые изменения, происходящие во всех сферах его жизни. То, что для наблюдателя выглядит как особенно наглядное проявление чистых инстинктов, часто оказывается лишь отчаянной мольбой о разрешении синтезировать и сублимировать единственно возможным для данной личности способом. Поэтому мы можем ожидать, что молодой пациент будет реагировать только на те терапевтические меры, которые позволят создать необходимые условия для успешного формирования его оригинальной эго-идентичности. Терапия и руководство могут попытаться заменить нежелательные идентификации желательными, однако общая конфигурация эго-идентичности не претерпит изменений⁵.

Я вспоминаю в связи с этим одного бывшего немецкого военного, который эмигрировал в нашу страну, поскольку не мог принять нацистскую идеологию или же сам оказался неприемлем для нее. У его малолетнего сына было не так много времени, чтобы впитать нацистскую доктрину до того, как семья перебралась в Америку. Здесь, как многие дети, он быстро американизировался и чувствовал себя как рыба в воде. Однако постепенно у него развилось невротическое неприятие любых авторитетов и власти. То, что он говорил о «старшем поколении», и то, как он это говорил, очевидно совпадало с тоном нацистских листовок, которых он никогда не читал; его поведение было бессознательным протестом «гитлеровского мальчика». Поверхностный анализ выявил, что ребенок, солидаризируясь с лозунгами гитлеровской молодежи, иденти-

фицирует себя с гонителями собственного отца, что является следствием эдипова комплекса.

В создавшейся ситуации родители приняли решение отдать его в военную школу. Я ожидал, что он будет из всех сил сопротивляться этому. Напротив, с того момента, когда он надел форму, к которой со временем будут прикреплены золотые нашивки, звездочки и знаки отличия, в нем произошла разительная перемена. Как будто вся эта военная символика внезапно и решительно изменила весь его внутренний мир. Бессознательный «юный Гитлер» пропал под оболочкой американской модели и превратился в обыкновенного школяра-кадета. Отец, абсолютно гражданский человек, был теперь для него не опасен и не значим.

Однако до этого тот же самый отец и соответствующий отцовский прообраз через подсознательные знаки (Erikson, 1942) (особенно если мы вспомним о милитаристской риторике Первой мировой войны) укоренили в этом ребенке милитаристский прототип, являвшийся частью коллективной идентичности многих европейцев и имевший особое значение для немцев как одна из немногих чисто германских и высокоразвитых идентичностей. Военная идентичность как исторический акцент в общей семейной традиции идентификации продолжает подсознательно существовать и в тех, кто в ходе политического процесса уже не должен принимать ее⁶.

Менее выраженные способы, которыми дети приходят к приятию исторических или реальных прообразов добра и зла, вряд ли могут быть подвергнуты всестороннему изучению. Моментальные проявления эмоций, таких как привязанность, гордость, злость, вина, тревога, сексуальное напряжение (в отличие от их словесных выражений, подразумеваемого значения или философских интерпретаций), передают ребенку представление о том, что действительно важно в его мире, то есть обрисовывают варианты пространственно-временных ориентиров и перспектив жизненного плана его группы.

Похожим образом спонтанно возникающие настроения социоэкономической и культурной паники, охватывающие семью, вызывают личностную регрессию к состоянию инфантильной компенсации

и реакционный возврат к более примитивным моральным кодексам. Когда такая паника совпадает по времени и динамике с каким-либо из детских психосексуальных кризисов, вместе они отчасти и определяют характер невроза: всякий невроз есть разделенное ощущение паники, изолированной тревожности и сенсорно-моторного напряжения одновременно.

Мы, например, наблюдаем, что в нашей культуре, основанной на чувстве вины, индивиды и коллективы при осознании опасности, угрожающей их социоэкономическому статусу, подсознательно начинают вести себя так, словно эта угроза вызвана их внутренним ощущением опасности (искушениями). В результате происходит не только возврат к раннему чувству вины и его компенсациям, но и реакционный возврат к исторически более ранним, по форме и содержанию, принципам поведения. Подсознательный моральный кодекс приобретает более ограничивающий, магический, более кастовый, нетерпимый характер. Отметим, что пациенты часто описывают окружавшую их в детстве среду, ссылаясь на небольшое количество отдельных периодов, когда множество перемен, происходивших одновременно, создавало атмосферу паники.

В случае с пятилетним мальчиком, у которого начались конвульсивные припадки после пережитых одновременно событий, связанных с агрессией и смертью, идея насилия получила свое проблематичное значение благодаря следующим тенденциям в семейной истории. Отец мальчика был евреем, выходцем из Восточной Европы, которого в пятилетнем возрасте его тихие и кроткие бабушка и дедушка привезли в нью-йоркский Ист-Сайд, где он мог выжить, лишь заменив свою детскую идентичность идентичностью «парня, который бьет первым». Это правило он внушил нашему пациенту, не преминув поведать, каких усилий это ему стоило. Выжив и добившись определенного экономического успеха, он открыл магазин на главной улице небольшого городка в одном из северных штатов и переехал в уважаемый район. Там ему пришлось отказаться от первоначальных рекомендаций, данных сыну, задире и драчуну, просьбами и угрозами поставив его перед фактом, что сын владельца магазина должен вести себя с соседями обходительно.